

ПО ТУ СТОРОНУ ПАМЯТИ

АНТОН МЕТЕЛЬКОВ

Человек в пейзаже

Появись в культурном поле Новосибирска ворота и мяч, Ковалевич, безусловно, занял бы позицию опорного полузащитника. В расставленных им сетях поэзия чувствует себя как рыба в воде. Поэзия — искусство невозможного, она живет не в словах, а между ними, силами их притяжения или отталкивания. Поэзия — весть о невыразимом, пойманная в садок слов.

Так же и фотография Ковалевича — она о том, чего нет, о мире мечты, о тоске по нему, по ней. Она поет об ином мире, где живут бесконечно красивые и бесконечно хрупкие люди — фарфоровые люди, сделанные из той же глины, что и волны, и небо, и солнце здесь. Неповторимые люди-цветы — стоит опрокинуть нас, и мы рассыплемся на песчинки, преходящие и бессмертные. Человек как случайная, почти невозможная игра бликов, готовых в следующее мгновение стать береговой линией, облаком в вышине.

Мир мечты и мир тайны — каждый его персонаж знает что-то такое, чего и сам, наверное, не знает. Люди-флейты, на которых ветер выигрывает свои неземные мелодии. «Были они смуглые и золотоглазые» — так Рэй Брэдбери сказал о марсианах. Так и Ковалевич говорит, какими мы были когда-то, но, к сожалению, забыли об этом. Он воскрешает память о том, чего не было.

Зеркала

Поэзия — она ведь в каком-то смысле охота. Или скорее рыбалка. Система крючков, маячков, грузиков, блесенок, наживок, дающая право взглянуть рыбе в глаза. Своими снастями обзавелся и Ковалевич, и зеркала занимают в их описи далеко не последнее место. Зеркала — это атлас истинной анатомии человека, со всеми его внутренними жильцами, каждый из которых перетягивает одеяло на себя. Один зазевается, другой ему в рот заглянет, а там уже третий сидит. И в страшном сне такого не увидишь, что внутри человека бывает.

Фотообъектив — несостоявшееся зеркало. Он не отражает мир, но вынужден фиксировать как есть. Он гонится за непрерывностью отражения, которой обладает зеркало, он подсекает происходящее, стоит тому на секунду отвлечься. Конечно, объектив завидует зеркалу. А Ковалевич примиряет их — не просто примиряет, а дает прикоснуться друг к другу во всей их невозможной стеклянной страсти. Катится соленая капелька, пошатывается — ни дать ни взять, человек между небом и землей.

Впрочем, бывает, что зеркало уже и не зеркало вовсе, а, например, окно. И ходишь за этим окном совсем не ты, а девушка сумочкой размахивает. Непорядок ведь? Высовывай в окно руку, а лучше голову и сразу присматривайся, чтобы не упустить подвоха: вот она, твоя голова, болтается, на месте, в полной комплектации. А обернешься — ни к чему-то она уже на том конце и не крепится. Чего только не наловишь в зеркалах! Да и сами они — чего только не наловят.

Что поделать, ныряешь следом за Жаном Маре напрямик в озеро ртути, которое зеркало и есть, — и поминай как звали. Останется только затылок Магритта и расписание обратных поездов, уже сто лет как просроченное.

Свет и тень

Свет и тень тоже инструменты Ковалевича. Луч света выхватывает тебя из темноты, и сам ты становишься светом. Уходишь в тень, а свет остается, сохраняя твой контур.

Хорошо, когда черное — это черное, а белое — белое. Но стоит присмотреться — в тебе-то черноты накопилось, хоть трубочиста вызывай. Трубочисты — народ лихой, но, известный факт, с сочувствием относятся к фарфоровым согражданам. Вскинет такой трубочист свой лорнет, осмотрит фронт работ и скажет: извините, мол, бессилён. Нужно вас беречь, как родную речь.

Тут-то и сгодится солнечная пряжа — сплетает кокон, а что там внутри — ни черт не разберет, ни сам трубочист. Струится пряжа волна за волной, баюкает, укачивает — и помнить забыла о взмахе ножниц.

Волны

Ветер равно благосклонен к пуху на голове ребенка и к сединам старика. Он причесывает море, где волны — сотни маленьких зеркал с сотнями солнечных зайцев за пазухой. Каким виртуозным лезвием вырезает их Ковалевич, чтобы ни один заяц не свалился за борт!

Волны, состоящие из капелек, песчинок или снежинок, — поверхность разломленного плода. По второй его половине скользят облака, и волны, памятуя о прежней неразъятости мира, повторяют их бег, стараясь не расплескать ни облачка.

Ход мироздания столь отточен и синхронизирован, что мы уже не замечаем его, как не замечаем вращения Земли. Время замерло, давая нам почувствовать, что такое всегда, а значит, и неразлучное с ним никогда, притаившееся на обратной стороне снимка.

Руки

У новосибирского художника-керамиста Алены Залуцкой есть серия работ под названием «Псалмы»: фрагменты библейских сюжетов словно выхвачены случайной свечой, подобно тому как цитаты из Библии без начала и без конца оказываются законченными и совершенными.

Не секрет, что достоверность изображения рук всегда считалась признаком мастерства живописца. Руки человека – это ветви дерева. К какому солнцу их влечет? Какие воды питают их? Какие невидимые нити они перебирают? Рукам невозможно молчать, они ждут твоего прикосновения, как нависшая капля, как набухшая венка. А пока его нет, руки ловят руками воздух, лепят из него свои пряники, оставляя владельца в статистах. «Кушать подано» – все, что может сказать хозяин этих рук в начале третьего акта, чтобы вновь уйти за кулисы. Руки – это вечная попытка удержать время, это ловля неслышимой мелодии, это место встречи человека и мира, нейтральная территория, где они осторожно приглядываются друг к другу.

Руки и волны. Свет и тень. Зеркала.

«Были они смуглые и золотоглазые»

Мир мечты, мир тайны – и он не тождественен миру детства – мало кому удается такое проверить. Может быть, это утопический межзвездный коммунизм братьев Стругацких, «далекая радуга», песчинки и звезды. Конечно, именно отсюда Орфей надиктовывают по радио его стихи сквозь черноту космоса. Здесь, если угодно, «вишневый сад», чеховский мир нелепых, бесполезных, до одури прекрасных людей – прибежище лишних людей, где нет ни одного лишнего. Приветствуем вас, растерянные и заблудившиеся! Не растерявшись и не заблудившись, вам ни за что бы сюда не попасть! Устраивайтесь поудобнее.

Как и герои Брэдбери, прилетевшие на Марс с Земли, сделались и смуглыми и золотоглазыми – мы обживаем этот мир мечты, который не для нас и не про нас, а оказывается – про нас, для нас. Но это тайна.

Глядя на персонажей Ковалевича, мы незаметно сами становимся ими.

Несколько вопросов Вячеславу Ковалевичу

– Какие возможности дает работа с черно-белым изображением?

– Автор, знающий цену цвету, знающий о законах восприятия его человеком, интуитивно или осознанно создающий композиционные решения с участием цвета, – это тот автор, которым я не являюсь.

Даже я, неуч, конечно, могу поразмышлять о том, что же такое цвет (на бытовом уровне, конечно). К примеру: «Насколько мой цвет «синий» близок к тому, какой он для тебя и т. д.» Или: «Что значил упомянутый цвет для человека с Крита, эпохи бронзы, а вот для...»

Но иногда мне лучше молчать.

Да и, к слову, Солнце – оно ведь на самом деле белое, а не желтое. Живу вот с этим, узнав после сорока.

Знаешь, сейчас задумался: насколько мне важен цвет в тот момент, когда я представляю сцены из придуманных мною историй? (Речь о моей все никак не получающейся прозе.) Так вот – он там почти незаметен. Это не ответ на твой вопрос, но где-то очень рядом.

– Отличаются ли люди на твоих фотографиях от своих реальных прототипов? Если да, то чем?

– Все время хочу спросить героев моих портретов: какими вы видите себя на снимках? Какую версию себя? Или на фотографии – некто Незнакомый (принимаемый или не принимаемый самим героем)? И, кажется, почти никого об этом не спросил. Страшновато. Ведь на самом деле есть же элементарное уважение к человеку. Уважение должно сохранить в кадре настоящего. Но тогда будка с фотоавтоматом – является ли она мерилем предельного уважения?

А ведь я, кажется, не автомат. Я ошибаюсь. Значит, живой. А передо мной тот, в чьих портретах я обязательно ошибусь: подчеркну, вычеркну, найду; всегда что-то ускользает, ищу одно, а встречаю порой нечто иное, чего и не думал искать, но оно возьми и проявись – то, чего мне не понять, чаще всего не дано понять. Это как если ты слышишь речь на неизвестном тебе языке – и ты любишь тем, как переливаются, как переплетаются неизвестные тебе слова и интонации, ты слушаешь музыку языка – не понимая сути.

— Какова для тебя разница между портретной и пейзажной съемкой и что их объединяет?

— Я прошу человека вспомнить о своей комнате в его лет восемь: «Вспомни, — говорю я ему, — оглянись, Расскажи, что видишь. Какие вещи там и тогда — для тебя важны?»

И далее, и далее, и далее. Мы можем идти вместе по карте памяти (по той комнате, по определенному моменту «с самого начала до...»), или уходим с того места, где ты (восьми лет от роду) хранил то самое важное, идем к месту, где оно сейчас, если есть куда приходиться, или он, герой портретов, один идет, а я — тот-кто-не-должен-мешать, я не то чтобы званный — попутчик, иду вдалеке, в стороне, не теряя из виду. Моя цель проста. И я честно говорю о ней в самом начале: фотографировать то, как вы проживаете, вспоминаете или, быть может, забываете. Утилитарная у меня цель, надо признать.

А берег? Берег моря — это моя комната.

— Как относишься к группе «Трива»? Расскажи о своих ориентирах в области фотоискусства.

— Расскажу скорее о том, какие снимки постоянно со мной. Они даже, скорее всего, перепридуманы мной. Понимаешь, такая фотография перестает быть «запечатленным моментом», она становится чем-то...

Вот на одном из подобных снимков группы «Трива» люди моего поколения, группа детсада. Они сидят на горшках, они рядом стоят, подтягивая сползающие гамашки, их взгляды направлены на экран телевизора. Они коллективно, по особому случаю, смотрят «Лебединое озеро». Мне так легко оказаться там, среди «условно-своих», а в реальной жизни к такому просмотру я не успел, но есть этот снимок, есть моя попытка домыслить или, быть может, даже выдумать кадр.

Да, я нагло присваиваю, я проживаю это, как если бы ты становился частью, героем фотографии, текста, картины, фильма. Это делает меня — мной. Несколько кадров «Тривы» помогают сделать меня — мной.

— Можно ли сказать, что твоя фотография и твоя проза об одном и том же? Как они взаимодействуют?

— Я не знаю, как говорить о чем-то, чего не существует. Придумать его, рассказывать о нем, надеясь, что поверят. Сейчас, шагая по проспекту, понял наконец, какой ответ будет честным.

«Комната давно не знала ремонта: по стенам с оборванными обоями хаотично расклеены черно-белые снимки. Стопки фотографий заполняли все ниши в шкафу, большую часть пола и весь подоконник, наполовину скрывая окно. На письменном столе, поверх разбросанных отпечатанных снимков, лежал склеенный скотчем коллаж — собранное из нескольких портретов «лицо».

В коллаже Ольга узнала свой подбородок, узнала взгляд мудрой Катьки и не узнала тревоги ребенка — в левой части «лица». Чей-то поседевший висок, загоревшая веснушчатая скула, краешек чьей-то улыбки. Ольга постоянно возвращалась к взгляду ребенка, пытаюсь вспомнить семилетнего Пашку, на пожелтевшем снимке семейного альбома. Портрет смотрел на нее чужими глазами. Неизвестный улыбался неизвестному».

(Цитата из несущественного несуществующего.)

